

Астафьев Виктор Петрович Солдат и мать astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Что мягче пуха? – Сердце матери. Что тверже камня? – Сердце матери. Старинное присловье Женщина запускала руку в ведро, доставала горсть овса и процеживала его меж пальцев ручейками. Вокруг женщины снежным вихрем метались куры. Они хлопали крыльями, кудахтали, успевали долбануть одна другую. Хотя видно мне было только руку да спину, на которой топорщился новый казенный халат, чувствовалось, что женщина в больших годах. Рука у нее будто высечена из гранита и высечена столь тщательно, что видны каждая жилка и жилочка. Кажется, тряхни птичница рукой – и пальцы застучат. Удивительно, как могли эти руки делать такие плавные, как бы певучие движения! Птичница вытряхнула на ладонь остатки овса, широким взмахом старого сеятеля бросила его впереди себя. Меня что-то встревожило. Я где-то видел такую же руку... Птичница поправила на голове домашний цветастый платок, который она, по-видимому, носила наперекор инструкциям, и стала рассказывать посетителям выставки о курах, которые торопливо работали клювами, рассыпая дробящийся перестук. – Из какой области, мамаша? – спросил я, когда птичница выговорилась. – Калужской. Бывали? – Доводилось. Воевал в ваших краях. Может, и деревню вашу у немцев отбивал? Она назвала деревню. Нет, не приходилось мне бывать в этой деревне. Но я отчетливо вспомнил такое же лицо в сухих морщинах, с глубоко сидящими глазами василькового цвета. И я сказал птичнице те самые слова, которые должны были прийти первыми, если бы мне довелось когда-нибудь встретить ту женщину: – Перемололось, значит, все? Она истолковала мой вопрос по-своему. – А как же! Все перемололось, на выставку вот с курами попала, – негромко и напевно отозвалась она, – хлебца тоже поболее получаем теперь. И было в ее коротком ответе столько спокойствия, что за этими скупыми словами угадывался другой, более глубокий смысл: а иначе, мол, и быть не могло. Сколько войн, пожаров полыхало на Руси, а она трудами народными стояла и стоит. Птичница снова занялась своими делами, а я смотрел и смотрел на нее, на эту женщину с выцветшими глазами, в глубине которых еще различался васильковый цвет. А думал я о той женщине, которую тяжелое железное колесо войны переехало по самому сердцу... Я был тогда совсем молодым. Помнится, незадолго до встречи, о которой хочу рассказать, первый раз побрила меня госпитальная парикмахерша. Побрила, как впоследствии выяснилось, из особой ко мне симпатии. В ту пору на моем лице еще волосинка за волосинкой бегала с дубинкой. Но, видно, у парикмахерши была легкая рука. После того, как покудесничала она, пошла растительность буйствовать на моем лице, и ныне, если с неделю не побреюсь, родные дети не узнают. Помню, побритый, сытый и обласканный, уходил я из госпиталя. Держу курс на передовую да вспоминаю парикмахершу, хохотушку с грустными глазами, и житье свое беззаботное в госпитале вспоминаю. От чехла чуть слышно доносит буряковой самогонкой. Время от времени я ругаюсь, желая всяких напастей тому, кто придумал стеклянные фляги для военного человека. Ведь на последние гроши купила моя "симпатия" самогонки для согрева, а я, не отведавши ни капли, умудрился разбить эту распроклятую флягу! И погодка, как на грех, такая, что без поддержки духа солдату, привыкшему к госпитальным порядкам и немало разленившемуся, совсем не вмоготу. Серое небо чуть не касалось пилотки. Сыплется, трусится какая-то нудь сверху. Уж полило, так полило бы! В такую погоду не грязь месить по чужим дорогам, а сидеть бы дома, книжку почитать, на худой конец покуривать в блиндаже с накатом, ругать, как душе желательно, старшину, который черт-те где застревает всякий раз, лишь только ударит непогода. А потом, когда придет оказия (так мы называли хоззвездовскую повозку и кухню), рубануть котелочек-другой гороху с тушенкой и задать храпака. Э-э-эх, далекомно же наши ушли! Шагаю, шагаю, а все орудий не слышно. Хоть бы скорей на шоссе выбраться – голосовать начну... Налипла грязь на ботинки. Ногам сделалось сыро. Ботинки старые, бэу – бывшие в употреблении. И все на мне бэу, и этот мутный, тягучий, как еловая сера, день – тоже. На войне хмурых дней больше, чем в обычное мирное время, и, наверное, потому так сильно давило меня волглое, низкое небо. Мне явственно представилось, как бредуг по непролазной грязи мои окопные друзья. Винтовки, а у кого и "пэтээры" на плечах, на поясах подсумки, мятые котелки, лопатки и прочая благодать, а под поясами, как всегда в дрянную погоду, пусто. Идут они и не знают: поедят сегодня или нет, высушатся или мокрые лягут спать, да и придется ли поспать, доведется ли дожить до погожего дня? Уцелеть в такую войну – мудреное дело! Ох, мудреное! Меня вон уже два раза зацепило, госпиталем отделался. Отделаюсь ли в третий? Три – роковой счет у солдата, а до Германии еще далеко, до победы – и того дальше. Между прочим, навоевался я, кажется, досыта и имею, так сказать, моральное право быть в тылу. Для этого нужно сделать малость: повернуться "к ррюхом!", как любил командовать наш сержант Рустэм. Дело в том, что я признан нестроевиком. Могу податься на

Астафьев Виктор Петрович Солдат и мать astafevvictor.ru
ближайший пересылочный пункт, предъявить справку, написанную на оберточной бумаге, – и направят меня на завод или в дорожную часть. Может, и в родной город попаду, там заводов много... Чудно же, ей-богу, свет устроен! В тот раз из госпиталя уходил, все было честь по чести: обмундирование, ботинки новые, ремень, пусть ниточный, как лошадиная подпруга, а все равно новый. И вот пальнул какой-то ариец зловредный из винтовки, и нет, чтобы в мякоть угодить – перебил кость, сделал меня нестроевиком. Иди теперь кирпичики таскай, либо мыло вари, и поскольку ты уже второстепенный боец, то можешь от подштаников и до пилотки одеваться в бэу. Даже справку тебе и ту написали па такой бумаге, в какую до войны селедку постыдились бы завернуть в магазине. И флягу стеклянную дали, и паек всего на один день. Иди, топай до пересылки, и этого пайка тебе хватит, и фляга железная тебе ни к чему... До полного накала дошел я от таких мыслей и шлепал по грязи направо. Со зла на госпитальное начальство перекинулся, ну а потом, само собой, – на Гитлера, чтоб ему ни дна ни покрышки! Вдали мигнул огонек и тут же сгинул. Я разом очнулся и невольно огляделся по сторонам. Но кругом не было ни души, и огонек тоже не появлялся. Сделалось совсем тоскливо и тревожно. Я до боли в глазах смотрел вперед, готовый вскрикнуть от радости, если огонек появится еще раз. Где огонек – там люди. А на людях отстанут, обязательно отстанут эти навязчивые думы, это обжигающее душу зло. Скорей, скорей к людям! Я пошел быстро, почти побежал и, когда очутился на окраине тихой деревушки, перевел дух и утер испарину со лба. Чего, собственно, распахивался? Устал, видно, от войны устал. Все устали от войны. Тяжелая штука – война! Вдоль этой деревни тоже прошла война. Иные избы были разрушены, иные спалены дотла. Многие деревья поломаны, огороды изрыты воронками и окопами. Однако в некоторых избах, судя по полоскам света, струившимся из-за ставен и дерюжек, обитали люди. Они еще не отвыкли жить с закрытыми окнами и рано зажигали свет. Должно быть, кто-то приподнимал дерюжку, и я увидел издали мелькнувший огонек. На самом краю деревни из-за густого орешника и трех кривых груш бодливо выглядывала избушка. Время придавило ее к земле, затянуло крышу мохом. Я тронул сколоченную из жердочек калитку, но она тут же упала, потому что не было петель. Пока я пристраивал створку на прежнее место, из дома вышла женщина и остановилась на крыльце. – Чего надо? – недружелюбно и настороженно спросила она, разглядывая меня глубоко ввалившимися глазами. Должно быть, моя куцая шинеленка, замызганные обмотки и чехол из-под фляги не внушали хозяйке доверия. – Я из госпиталя... Мне бы переночевать... – У меня ночевать не останавливаются, – глухо сказала женщина и отвела глаза в сторону, – не то место. – Да не стесню ведь, – настаивал я, исходя из солдатского опыта и принципа: быть в таких случаях настырным. – Иди вон на тот конец, там изба чище. – Да уж ноги не идуг, тетенька. – Дойдут, молодой еще. – Солдата раненого гоните, эх вы!.. Эти слова подействовали на женщину. – Ну как знаешь, – обронила она и отодвинулась в сторону, пропуская меня в избу. Я вошел в переднюю, вытер ноги о старые ватные брюки, лежавшие у порога, и, как полагается, произнес: – Здравствуйте, люди добрые! Мне никто не ответил. Это было странно. Обыкновенно в прифронтовых деревнях не хватало жилья, и в каждой избе ютилось по две или по три семьи. Я стянул шинель, пережившую не одного солдата, и пристроился на скамье под божницей, на которой не было икон. На их месте светлели квадратные пятна. Вошла хозяйка. – Народу много осталось в деревне? – Много. А целых изб – с полдюжины. Забиты людьми, прямо сказать, доверху. – А у вас почему нет? – А у меня нету, – отрезала она с раздражением и принялась чистить картошку. По тому, как она чистила картошку, нетрудно было догадаться: эта женщина знала цену человеческому труду и умела экономить. Стружка из-под ножа вилась сплошной ленточкой. Казалось, что ножик и картофелина не двигались. Доносилось только едва слышное поскрипывание – настолько ловки привычные к работе руки. Нас было девять гавриков в семье, и мать чистила картошку так же споро, но только еще тоньше... Мать!.. Мама!.. Я закрыл глаза, и вот она передо мной, с узкой грудью, с большим, надсаженным животом, вечно занятая, вечно озабоченная. Каково-то ей без нас? Я пятым ушел из дому, а девки давно замужем. На троих из пяти уже пришли похоронные, и лежат они у матери под подушкой, вместе с хлебными карточками. Может, и четвертая уже там: на войне каждый день убивают. Может, и пятая – это уж на меня – очутится под подушкой. Станет и без того жесткая подушка тверже железа и будет жечь щеку матери пуце березовых углей. Хозяйка с грохотом вывалила картошку в чугунок. Я встрепенулся и полез в карман за кисетом. Когда по избе поплыл забористый дух махорки, женщина вдруг потянула носом, и на секунду безжизненно повисли ее жилистые руки с трещинками. Эти трещинки снова напомнили мне мать, и я поспешил завести разговор: – Родных тоже, значит, нет? – А сам думал о том, как обрадуются дома, если нагрнать неожиданно, да к тому же несильно изувеченным. – Ты знаешь что, пришел ночевать, так ложись! – С этими словами хозяйка схватила ведро и быстро вышла. Я проводил ее взглядом и повернулся к окну. Навстречу моей хозяйке

Астафьев Виктор Петрович Солдат и мать astafevvictor.ru

ковыляла старуха. Она остановилась, приложила к глазам руку козырьком, затем неожиданно плюнула и перешла на другую сторону улицы. Тут что-то было! Я насторожился и еще раз, но уже внимательней, осмотрел жильё. Все запущено. Все покрылось пылью, подгнило, перекопилось. Над никелированной кроватью, которая как-то не вязалась со всем окружающим, висели два портрета. На одном был изображен бравый мужчина, на другом – женщина, в которой я с трудом узнал хозяйку. Висели они далеко друг от друга, и между ними на беленой стенке тоже проступало пятно. На этом месте, должно быть, когда-то был третий портрет. Вернулась хозяйка с водой. Я присмотрелся к ней повнимательней. На вид ей было под пятьдесят. Широка костью, рослая, худая. Линялый, застиранный платок, на котором едва угадывались цветочки, нависал до самых бровей. Казалось, будто она что-то потеряла и все время силилась вспомнить: где и когда. Женщина взяла топор и пошла на улицу. Я догнал ее в сенцах: – Секундочку, мамаша! Дайте я разомнусь... – Ну что тебе надо? Пришел спать, так спи... – Давайте, давайте, мамаша! Солдат должен помогать гражданскому населению. – Вот ведь надоедней какой... Она все-таки отдала мне топор и возвратилась в избу. За мазаным сараем, стены которого продырявили пули и осколки, я обнаружил несколько сухих яблонек да обломанную снарядом вишню. Никакой живности нигде не было. О ней напоминали только мокрые перья да куриная голова с пустыми глазницами, валявшаяся в крапиве. Тупая, но все еще не остывшая злость снова начала накатывать на меня. Я схватил топор и принялся торопливо рубить дрова. Рубил, рубил, секира сорвалась с топорщица да чуть не в лоб мне. – Вот так хозяйство! Позади меня кто-то захихикал. Я обернулся. За низким плетнем стоял голенастый, как петух, парнишка в живописно залатанной рубашке. Ноги у него были до того вымазаны грязью, что казались обутыми в ичиги. – Ты чего тут подглядываешь? – спросил я. – Вот попало бы топором в котелок-то, и загремел бы к Богу в рай. Мальчишка шмыгнул носом, почесал ногу об ногу: – Не больно пужай, не из пужливых! – Смотри, какой отчаянный! В ответ на это мальчишка выпалил: – Ты зачем тут на ночь встал? Тута фашистиха живет! – Пстой, пстой, – опешил я. – Как – фашистиха? – Так, фашистиха! Не знаешь, так не лезь, куда не полагается. Выражение на моем лице, видно, было такое, что мальчишка посчитал нужным пояснить: – Ейный сын с фронта смылся и в полицаи наладил. Его наши стукнули во-он тама, – махнул мальчишка в поле. Я наконец уразумел, в чем дело, и мне стало не по себе. Но я был уже битый солдат и потому как можно спокойней сказал: – Ты вот что, малыш, чем болтать, принес бы лучше топорщику какой-нибудь. Парнишка озадаченно глянул на меня и исчез. Я невольно дотронулся до брючного карманчика-пистона, где лежала нестроевая справка, но тут снова появился парнишка и протянул мне аккуратенький топорик. – Только не поломай. Он дедкин, – пробормотал мальчишка и почему-то посмотрел на мои руки. – Ладно, не зажилю, – буркнул я и принялся вытесывать клинышки для хозяйского топора. Было время, когда я любил изображать жонглера и не раз являлся к матери с раскroенными ладонями. И прошло-то каких-нибудь два-три года с тех пор, как мать перевязывала мою руку, а потом накладывала мне по загривку. Но какими недостигаемо дорогими и далекими казались в этот день из этой деревушки те времена! Я мотнул головой, чтобы отогнать воспоминания. Они всегда настигают меня в самое неподходящее время. Плюнул на ладони, подбросил оба топора несколько раз и поймал их за топорщица. – Ясно!? – Пор-рядок! – восхищенно прошептал мальчишка и, видимо, от избытка чувств снова почесал ногу об ногу. – Дядь, а дядь, айдате к нам ночевать, а? У нас на полатях теплы-ынь! И яблочки моченые есть. Айдате, а? – Не заманивай, малый, не пойду, – ответил я и принялся тюкать изуродованный ствол вишенки. Угрюмый день незаметно сметался с сумерками, когда мы поужинали и стали готовиться ко сну. Ни за столом, ни после хозяйка не проронила ни слова. Я больше не донимал ее расспросами, а свернул сигарку и вышел на улицу. Мне, пожалуй, надо было уйти из этого дома. У того же мальчишки меня приняли бы куда лучше и ласковей. Но я не мог этого сделать. На душе у меня было погано. Что-то давило и угнетало, и я не знал, как мне быть, о чем разговаривать с хозяйкой. И все-таки я должен был остаться здесь. Почему? Зачем? Этого я не смог бы объяснить. Я был молод и умел только чувствовать, но не объяснять. Я курил, трудно думал. Дремотно было кругом, душно и в то же время как-то очень уж томительно-тревожно. Я сделал шаг под дождик – он по-мышинному шуршал в палисаднике. Мелкая пыль защеконала мне лицо, несколько не остужая его. С крыши четко, одна за другой, дробинками скатывались капли. Они твердо шлепались на опавшие листья, и чудилось мне, что где-то совсем недалеко шагают и шагают чужеземные солдаты в подкованной обуви. В деревне ни звука, ни огонька. Даже собачьего лая не слышно. Неужто и собак война не пощадила? Хозяйка приоткрыла дверь и не то приказала, не то попросила: – Ты кури в помещении! – Она тут же торопливо захлопнула дверь, будто чего испугалась. Постель она мне приготовила на кровати, а сама забралась на печь. Я никогда не страдал бессонницей, даже в госпитале ничего снотворного не пил, но в ту ночь долго

лежал с открытыми глазами и не ворочался – боялся потревожить хозяйку. И почему-то из этой тишины, из крошечной темноты опять отчетливо, как днем, появилась мать. Маленькая, суровая. Доставалось мне от нее. Я был последним в семье. А последнего больше балуют и больше лупят. Отец работал конюхом в подсобном хозяйстве, любил выпить, покупал нам пряники и никогда не обижал. Я льнул к отцу, а мать недолюбливал. Молоденький все же был в ту пору, очень молоденький. До войны я даже костюма не нашивал и, чего скрывать, только на фронте попробовал колбасу, сыр, яблоки. Небогато жила наша громадная семья, стараниями матери жила. А я вот не смыслил ничего и обидел мать. Она лежала хвора, когда я уходил из дому на войну. Она не плакала, не целовала меня, она ругалась: "Ты беспутную голову свою зря там под бомбы не подставляй!" – наказывала она. А я улыбался. И вдруг мать жалко всхлинула, схватила меня, прижала к себе: "Хоть бы ты не уходил!" Я еще никогда не видел ее в такой слабости и оттого растерялся. Мне сделалось неловко, и я накричал на мать: "За кого ты меня считаешь?" Мать как-то до обидного снисходительно покачала головой и с протяжным вздохом молвила: "Ну-ну, не сердись, не сердись, тебе лучше знать, что делать, ты – грамотный..." И больше не прибавила ни слова. И поныне я вижу ее такой же, как при прощании, с такой печалью в глазах, какой я еще никогда и ни у кого не видел. – Мать!.. Мама! – шептал я в ту давнюю ночь. – Охота увидеть тебя, сейчас охота! Приснись хоть во сне, поговори со мной или взгляни... Стыдно солдату, да еще дважды раненному, да еще с медалью, так блажить. Но что поделаешь? Что было. то было. Блажил, звал, тосковал, кручинился. Сейчас можно в этом признаться. Годы прошли, люди не осудят. Они научились кое в чем разбираться, кое-что друг другу прощать. Замечаю я: добрее сделались наши люди, отмякли, как апрельская пашня. А в войну злы мы были: горе, обиды, утраты сделали нас такими. Уже не помню, как забился я тогда. В детстве я спал под отцовским тулупом, пропахшим конским потом, и, когда уснул, ко мне со всех сторон поплыл этот запах, смешанный с духовитым сеном. Мне, очевидно, снился наш дом, но я все заснул и ничего не мог вспомнить, потому что, потревоженный пристальным взглядом, дернулся и открыл глаза. На столе, повернутая, горела лампа. Около нее, будто окаменелая, сидела хозяйка с шерстяной шалью на плечах. Она смотрела на меня. В глубине ее глаз махоньким ядрышком отражался огонек лампы. А может быть, лампа осветила далеко упрятанное, затвердевшее, как алмазное зернышко, горе. Этакое невянущее, но и непрорастающее зернышко. – Вы что не спите? Хозяйка вздрогнула, подхватила свалившуюся с плеча шаль и сказала, закручивая пальцами кисточку: – Не спится. Нетути мне сна. Было невыносимо тягостно смотреть на нее. Но еще тяжелее молчать. Я кивнул головой на портрет, с которого, еле заметный, глядел в сумрачную избу мужчина, и спросил: – Муж, да? – Мой. Данила. Садовником был, за год до войны помер. – И, отвечая на мой немой вопрос, она добавила: – А я птичницей работала, на выставку как-то ездила. Давно это было... У меня уже вертелся вопрос насчет сына, однако я вовремя спохватился и заменил его первым попавшимся: – Теперь в саду вместо мужа? – Не-е... Я с колхоза вышла... – Чего так? – Бабы проходу не дают. Я заметил, что хозяйка изо всех сил старается говорить спокойно и потому произносит слова осторожно, медленно, будто удерживает то, что может зазвенеть и ненароком разбиться. – Сам-то женатый? Детки есть? – Нет еще. Не успел жениться... – А-а, – с сочувствием и, как мне показалось, даже с сожалением протянула она и раздумчиво продолжала: – Придет время, женишься, детки пойдут... – Это еще на воде вилами... Хозяйка быстро взглянула на меня, потом перевела глаза на квадрат между портретами, и складки у ее рта сразу сделались строже. – Иной раз и живой человек, а мертвому завидует. Вот у меня сынок был, – выдавила она. – Он покойный, а я за него казнь от людей принимаю. – Женщина задумалась, глядя мимо, за окно, по которому неслышными червячками сползали головастые дождевики. Порыв ветра налетел на избушку, полоснул по ней, что заряд бекасиной дробы. Червячки заскользили проворней. Но ветка груши качнулась и размазала плакучие струйки по стеклу. – Ветер начинается, разнесет тучи с дождем, легче тебе идти будет, – тихо произнесла она. – Да-а, может, и легче, – неопределенно протянул я. И снова хозяйка быстро и пристально взглянула на меня. – И затяжная непогода проходит, – заторопился я. – У вас тоже все пройдет. Ваша-то вина какая? – Мир понапрасну не судит! – Женщина запахнула шаль на груди, будто ей разом сделалось зябко, однако вскоре расслабленно уронила руки и закрыла глаза. – Говорят, гадюка когда родит, то пожирает гадят, если они не расползутся. А я вот вроде бы и не змея, а тоже... Видно, у хозяйки перехватило горло или сдавило сердце. Она заученным движением человека, которому никто ничего не подает, нащупала на столе кружку, отпила глоток и продолжала почти неслышно: – Одно дите – свет в окошке, так в народе говорят. А мое дите мне весь свет застало. Чуть чего бывало нашкодит, я его, как курица-парунья, под крылышко. Школу бросил – под крыло, пить взялся – обратно туда же. Девушку-невесту избидел – шито-крыто сделала, и все это мне шалостями

Астафьев Виктор Петрович Солдат и мать astafevvictor.ru ребячьими представлялось. Только уж когда он товарищей в черные дни покинул, когда чужеземцу в услужение нанялся, я очнулась и вижу: ничего-то он не любит – ни родную деревню, ни мать... Ему бы, как таракану, в щель какую засунуться. Да только спутал он дом родной со щелью. Выковырнула я его, просила, молила, чтобы свою часть настигал. Послушался вроде бы, пошел, да не туда пошел. От меня потом все прятался. Видно, чувствовал: зарублю я его. Другие люди упокоили его, уберегли меня от этого тяжкого дела... Хозяйка опять поднесла кружку ко рту. Посудина стучала о зубы. Должно быть, вода показалась хозяйке студеной, и она принялась греть кружку руками. – Э-эх, кабы прежние годы вернуть, кабы сызнова все начать... – без всякого перехода снова заговорила она, и тут до меня дошло: это она по привычке беседует сама с собой. Внезапно хозяйка умолкла. Как бы пробуждаясь от обморочного сна, огляделась кругом и дунула на огонек. Изба разом провалилась в темноту. Шум ветра словно бы усилился. Стало слышно, как скребется в окно по-кошачьи ветка груши и где-то наподобие коростеля скрипит незапертая калитка. – Ты с госпиталя на фронт или как? – донесся через некоторое время голос женщины с печи. Вопрос был таким неожиданным, так он меня ужалил, что я, сам того не замечая, подскочил и оскорбление, грубо бухнул: – А куда же я могу еще? – Да мало ли куда? Свет велик. Ох-хо-хо, война! Многим она очи позакрывала, но многим и открыла... Ну, спи, спи, мешаю я, а путь долог... Хозяйка ворочалась и вздыхала, а я пережидал, когда она уснет, и пытался представить, как она провожала сына на фронт: голосила, поди, наказывала, чтобы он был не хуже людей, не позорил бы себя и родителей своих... Захотелось курить. Я сел и принялся торопливо искать бумагу для курева. Рука моя нащупала справку. Ага, ее-то мне и надо! Насыпал я а хрусткую бумагу махорки и, уже не боясь потревожить хозяйку, свирепо рубанул по "катуше". Фитиль затлел. Я раскурил сигарку и откинулся на подушку. – Ты чего такую душную бумагу куришь? Газеты нет, что ли? – Нету... Снова тишина. Перестал шуршать дождь за стеной, ослабел и ветер, даже слышно, как трещит сигарка, вспыхивающая при каждой затяжке. Вот уж и губы обжигает. Все! Я кинул окурью к порогу, и он, описав кривую, зашипел в лохани. – Ну, теперя спи с Богом, – тихо и, как мне показалось, с облегчением вымолвила хозяйка. Я вытянулся, закрыл глаза, и сейчас же меня прикрыла ночь, мягкая, теплая, ровно отцовский тулуп, так славно пахнувший домом. Проснулся я поздно. Сквозь затейливо изогнутые ветви груш, на которых сиротливо висели неснятые плоды, в избушку пробивались вялые солнечные лучи. Дождь иссяк, выдохся. Я быстро собрался в путь. Но хозяйка велела мне сесть за стол и достала с печи закутанный в шаль горшок с толченой картошкой. Я ел. Она со скрещенными на груди руками стояла возле печи и, сколько я ни упрасивал ее поесть вместе со мной, за стол не садилась. Она смотрела на меня жадно, с большой и доброй печалью. Потом помогла мне надеть на плечи вещмешок, мимоходом застегнула крючок шинели и проводила до калитки. Я протянул ей руку. Она удивленно уставилась на меня своими до дна заплаканными глазами. Глаза эти все еще сохраняли васильковый цвет. И яркие же они были когда-то, раз уж соленые слезы не отъели всю голубизну, не смыли ее начисто. Хозяйка осторожно подала мне руку, ровно боялась, как бы тут не было какого-нибудь подвоха. – Ничего, мать, все перемелется, – сказал я и никак не мог подобрать других нужных слов. Я помолчал, еще раз тряхнул ее руку и тверже повторил: – Перемелется. Отойдут наши люди сердцем и простят тех, кто прощения заслуживает, – незлопамятные... – Этим и живу, – ответила женщина, глядя в сторону. Уже за околицей я оглянулся и посмотрел на приземистую избушку. Над давно не стриженным орешником покачивалась худая рука, будто хозяйка бросала вслед мне щепотью зерна. Не понять было: машет ли она или, по старому обычаю, – благословляет. Если то было благословение, пришлось оно в час добрый: не дрогнув прошел я сквозь все военные страсти, победителем вернулся домой. Вот какой случай напомнила мне птичница, которую я встретил прошлым летом на сельскохозяйственной выставке. Прежде чем уйти от женщины, делавшей свою маленькую, хлопотливую работу, я, как тогда, в войну, поклонился и сказал: – До свиданья, мамаша! Она взглянула на меня. Редкие ресницы ее, полусмеженные от усталости или привычно скрывающие что-то, распахнулись на мгновение, показали мутные глаза с тихой, едва заметной синевой. – Доброго пути, милый сын! – молвила она и занесла руку словно бы для прощального привета, но лишь поправила халат на груди. Я шел и все время чувствовал на себе ее взгляд. 1954–1959

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных

Астафьев Виктор Петрович Солдат и мать astafevvictor.ru
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!